

Максим Горький

**Н. Е. Каронин-
Петропавловский**



Максим Горький Н. Е. Каронин- Петропавловский

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=636765

Аннотация

«Осенью 89 г. я пришёл из Царицына в Нижний, с письмом к Николаю Ельпидифоровичу Петропавловскому-Каронину от известного в то время провинциального журналиста В.Я.Старостина-Маненкова. Уходя из Царицына, я ненавидел весь мир и упорно думал о самоубийстве; род человеческий – за исключением двух телеграфистов и одной барышни – был мне глубоко противен, я сочинял ядовито-сатирические стихи, проклиная всё сущее, и мечтал об устройстве земледельческой колонии. За время пешего путешествия мрачное настроение несколько рассеялось, а мечта о жизни в колонии, с двумя добрыми товарищами и милой барышней, несколько поблекла...»

Максим Горький

Н. Е. Каронин- Петропавловский

Осенью 89 г. я пришёл из Царицына в Нижний, с письмом к Николаю Ельпидифоровичу Петропавловскому-Каронину от известного в то время провинциального журналиста В. Я. Старостина-Маненкова. Уходя из Царицына, я ненавидел весь мир и упорно думал о самоубийстве; род человеческий – за исключением двух телеграфистов и одной барышни – был мне глубоко противен, я сочинял ядовито-сатирические стихи, проклиная всё сущее, и мечтал об устройстве земледельческой колонии. За время пешего путешествия мрачное настроение несколько рассеялось, а мечта о жизни в колонии, с двумя добрыми товарищами и милой барышней, несколько поблекла.

До этого времени я не встречал писателей – кроме Маненкова и Е. Н. Чирикова, которого видел однажды мельком; также мельком видел я в Казани и Каронина. Маненков был человек – в трезвом виде – чудаковатый, а выпивши, шумно изъяснялся в любви к русскому народу, плакал и заставлял меня тоже любить русский народ. Но однажды, осенним вечером, мы с ним шли по краю площади города Борисоглебска, а посредине её, в глубокой, чёрной борисоглебской гря-

зи, барахтался пьяный мещанин и орал, утопая.

– Вот, видите? – поучительно сказал Василий Яковлевич. – Мы читаем книги, спорим, наслаждаемся и идём равнодушно мимо таких явлений, как это, а подумайте-ка, разве мы не виноваты в том, что этот человек не знает иных наслаждений, кроме водки?

Я предложил пойти и вытащить человека, а Маненков сказал:

– Если я пойду, то потеряю калоши.

Пошёл я и потерял интерес к народолюбцу.

Но я много читал, и моё представление о русском писателе сложилось в красивый сказочный образ: это суровый глашатай правды, он одинок среди людей, никем не любим, обладает несокрушимую силою сопротивления врагам справедливости, и, хотя враги усердно вымораживают его душу, она неистощимо пламенна и – «дондеже есмь» возжигает свет во тьме.

Н. Е. Каронин был в ладу с этим представлением – я читал почти всё, написанное им, и только что познакомился с рассказом «Мой мир», где есть слова, ударившие меня в сердце:

«На свете нет ничего дороже мысли. Она – начало и конец всего бытия, причина и следствие, движущая сила и последняя цель. Кто же заставит меня отказаться от неё? Люди прекрасны только в той мере, в какой вложена в них эта мировая сила. Если мир окутывает ещё тьма, то потому только, что мысль не осветила её; если среди людей большая часть

подлых, то только потому, что мысль не освободила ещё их от безумия» {Из рассказа «Мой мир», соч. Каронина, т.2-й, стр.364 – Ред.}.

И вот я, с трепетом в душе, – как верующий пред исповедью, – тихонько стучу в дверь писателя: он жил во втором этаже маленького флигеля. Высокая, чёрная женщина в красной кофте, с засученными по локоть рукавами, открыла дверь, подробно и не очень ласково расспросила, кто пришёл, откуда, зачем, и ушла, крикнув через плечо своё:

– Николай, выдь сюда...

Предо мною высокий человек, в туфлях на босую ногу, в стареньком, рыжем пиджаке, надетом на рубаху, не лучше моей, – на вороте рубахи одна пуговица оторвана. Брюки его измяты, вытянуты на коленях и тоже не лучше моих, длинные волосы растрёпаны так же, вероятно, как и у меня. Он смотрит в лицо мне светло-серыми глазами; взгляд ласковый, усталый, а глаза немного выпуклые, и мне кажется, что они видят всё, что я думаю, знают всё, что скажу. Это смущает меня. В ответ на его вопросы я молча киваю головой, говорю «да», «нет», но мне всё приятнее смотреть на него.

У него небольшой рот и яркие губы; красивые брови вздрагивают, и тонкие пальцы – тоже, он перебирает ими редкую, но длинную бороду, дёргая её книзу, – точно он всё время растёт; красивый, высокий лоб его усиливает это впечатление непрерывного роста – а торопливые движения руки как будто пытаются задержать рост. Он – тонкий, ху-

дой, несколько сутулый, грудь вогнута, руки длинные, в нём есть что-то детское, приятно неуклюжее, я чувствую, что моё смущение замечено им и, в свою очередь, смущает его.

– Ну, идите сюда, шагайте, – приглашает он глуховатым голосом.

Говорит он немного заикаясь, точно отсекает апострофом первый звук слова; это тоже очень хорошо, чудесно сливается с его большим, замученным лицом и рассеянным взглядом светлых глаз.

Мы в узкой, тесной комнате, и первое, что бросается мне в глаза, – в ней нет стола, нет книг. У стены – койка, один её конец выдвинут немного на середину комнаты, на подушках лежит пирожная доска, на доске – недописанный лист бумаги, несколько таких же листов – на стуле, по примятой постели видно, что человек писал, сидя верхом на койке, а столом служила ему пирожная доска.

Сбросив со стула бумаги, он подвинул его мне, а сам сел на постель, крепко потирая руки и говоря:

– Вот – пишу тут, надо – скоро, а там жена и Саша – собираются уезжать и сумаатоха, знаете...

Потом стал читать письмо Маненкова, высоко подняв брови, улыбаясь мягкой, женскою улыбкой и покашливая тихонько.

Дверь в соседнюю комнату была не прикрыта, там черно-волосая женщина, с лицом цыганки, гладила накрахмаленную юбку; один конец гладильной доски лежал на столе и

груде толстых книг, а другой на спинке стула.

– Скоро? – строго и певуче спросил кто-то.

На пороге встала высокая барышня с огромными глазами.

– Ах, ты не один! – сказала она.

– Падчерица моя, Саша, знакомьтесь, – предложил Каронин, не отводя глаз от письма, обширного, написанного мелким почерком, лиловыми строчками.

Барышня протянула мне руку и ушла, напевая что-то.

– Хотите, значит, сесть на́ землю? – с усилием спросил Каронин, отделяя каждое слово секундой паузы. – Сколько же вас?

– Двое телеграфистов, я и девушка, дочь начальника станции.

– Н-ну, и влюбитесь вы в неё все трое, а потом начнёте драться, и выйдет скандал, а не к-колония.

Он наклонился ко мне, размахивая листом письма, и, усмехаясь, заглянул в глаза мне.

– Давайте говорить начистоту. Знаете, что пишет Василий Яковлевич? Он пишет, чтоб я отговорил вас от этой затеи.

Я удивился.

– Он одобрял меня и обещал помочь.

– Да? Ну а пишет, чтоб я отговорил... А я не знаю, как отговаривать, у вас вон такое упрямое лицо. И вы – не интеллигент. Интеллигенту я сказал бы: брось это, друг мой; это нехорошо – идти отдыхать туда, где люди устают больше, чем ты... И это искажает хорошую идею единения с наро-

дом. Несомненно – искажает. К народу надобно идти с чем-то твёрдо, на всю жизнь решённым, а так, налегке, потому что тебе плохо, – не ходите. Около него вам будет ещё хуже.

Он выполнял данное ему поручение с видимой неохотой, я чувствовал это, мне было неловко, и я спросил – не лучше ли мне зайти в другой раз?

– Почему? – встрепенулся Каронин. – Нет, подождите!

Он осмотрел пустые стены комнаты и продолжал оживлённее:

– Я как раз вот описываю историю одной колонии – историю о том, как пустяки одолели людей и разрешились в драму...

Повернулся к доске и сказал, поглядывая на исписанный лист:

– «Общество имеет свои отрицательные стороны, – да, люди пусты, раздвоены, без нужды толкаются, мозолят друг другу глаза и – когда всё это надоест – ищут одиночества. А в одиночестве человек преувеличивает всякое своё чувство, всякую мысль в сотни раз и в сотни раз тяжелее страдает от этих преувеличений», – это говорит один барин в моей повести.

Отбросив листок в сторону, он усмехнулся, провёл рукою по лицу сверху вниз, смешно придавив себе нос, и встал, говоря:

– Знаете – зачем вам колония? Не нужно это вам. Ведь вы ищете идеального, смотрите – придётся вам спросить се-

бя, как уже теперь спрашивают многие и в том числе мой герой, – я его не выдумал, это живой, современный, преувеличенный человек – зрелище очень печальное, – он сам каялся мне. Вот, – и, снова порывшись в своих листках, он прочитал с одного из них: «Что идеального в том, если человек душу свою закопает в землю, окружив себя миллионами пустяков? Человек должен бороться против пустяков, уничтожать их, а не возводить в подвиг и заслугу». Вот о чём вам придётся думать, это – наверняка!

Провёл в воздухе рукою длинную линию и разрубил её посередине убедительным жестом, а потом сморщил лицо, вздохнув:

– К-колония – эх! Разве это нужно?

Более тысячи вёрст нёс я мечту о независимой жизни с людьми-друзьями, о земле, которую я сам вспашу, засею и своими руками соберу её плоды, о жизни без начальства, без хозяина, без унижений, я уже был пресыщен ими. А тихий, мягкий человек взмахнул рукой и как бы отсёк голову моей мечте. Это явилось неожиданностью для меня, я полагал, что моё решение устойчивее, крепче. И особенно странно – даже обидно – было то, что не слова его, а этот жест и гримаса опрокинули меня.

– Маненков сообщает, что вы пишете стихи, покажите – можно? – спросил он спустя некоторое время, в течение которого дал ещё несколько лёгких ударов полуживой уже моей мечте. Мне и жалко было её и весело, что она оказалась

такой слабой.

Стихи я потерял в дороге между Москвой и Нижним; история этой потери казалась мне очень смешной, я рассказал её Н. Е., желая ещё раз посмеяться над моими злоключениями и ожидая, что он тоже посмеётся.

Но он выслушал меня, опустив голову, и хоть я и не видел его лица, но чувствовал, что он даже не улыбнулся. И снова это смутило меня.

Посмотрев на меня исподлобья особенно пристальным взглядом, он тихонько сказал:

– А ведь могли быть изувечены. Стихов не жалко – на память знаете? Ну, скажите что-нибудь.

Я сказал, что вспомнил: речь шла о зарницах, и была такая строка: «Грозно реют огненные крылья...»

– Тютчева читали? – спросил он.

– Нет.

– Прочитайте, у него лучше...

И почти шёпотом, строго нахмурясь, он проговорил знаменитое стихотворение; потом предложил читать ещё, а после двух-трёх стихотворений сказал просто и ласково:

– В общем – стихи плохие. Вы как думаете?

– Плохие.

Он посмотрел в глаза, спросив:

– Вы это – искренно?

Станный вопрос: разве с ним можно было говорить неискренно?

Глядя в лицо мне славными своими глазами, он продолжал, уже не заикаясь:

– Вот, недавно я прочитал очень хорошие строки:

Кто по земле ползёт, шипя на всё змеёю,
Тот видит сор один. И только для орла,
Парящего легко и вольно над землёю,
Вся даль безбрежная светла.

Это Апухтин написал Толстому – красиво? И – верно!

С этой минуты мне стало казаться, что он обо всём говорит стихами и говорил он так, словно сообщал тайны, только ему известные и дорогие ему.

И уговаривал:

– Вы читайте, читайте русскую литературу, как можно больше, всё читайте! Найдите себе работу и – читайте! Это лучшая литература в мире.

Помню его поднятую руку, тонкий вытянутый палец, болезненно покрасневшее, взволнованное лицо и внушающий, ласковый взгляд.

Потом он встал, вытянулся так, что хрустнули кости, и глаза его устало прикрылись. Я ушёл, позабыв о колонии.

В следующий раз я встретил его на Откосе, около Георгиевской башни; он стоял, прислонясь к фонарному столбу, и смотрел вниз, под гору. Одетый в длинное широкое пальто и чёрную шляпу, он напоминал расстриженного священника.

Было раннее утро, только что взошло солнце; в кустах под горою шевелились, просыпаясь, жители Миллионной улицы, нижегородские босяки. Я узнал его издали, всходя на гору, к башне, а он, когда я подошёл и поздоровался, несколько неприятно долгих секунд присматривался ко мне, молча приподняв шляпу, и наконец приветливо воскликнул:

– Это вы, к-колонист!

Через минуту мы сидели на скамье, и он говорил оживлённо, помахивая шляпою в своё лицо, с красными пятнами на щеках.

– Я тут часто бываю по утрам – изумительно красивое место, а? Вот – не умею описывать природу, – это несчастье! А странно: из молодых писателей ведь почти никто не пишет природу, да если и пишут, то – сухо, неискусно.

Заглянул вниз и продолжал:

– Наблюдаю этих людей, тоже колонисты, а? Очень хочется сойти туда, к ним, познакомиться, но – боюсь: высмеют ведь? И стащат пальто, да ещё побьют. Ведь в бескорыстный интерес к ним они не поверят, конечно? Вон – смотрите, молится один. Странная фигура. Он, должно быть, или так был пьян, что ещё не выспался, или убеждённый западник, – видите: молится на Балахну, на запад?

– Он сам балахнинский, – сказал я.

– Вы его знаете? – живо спросил Каронин, придвигаясь ко мне. – Расскажите – кто это?

Я уже был знаком с некоторыми из людей, ночевавших в

кустах, и стал рассказывать о них. Каронин слушал внимательно, часто перебивая вопросами, и всё время обмахивался шляпой, хотя майское утро было достаточно свежо. Он показался мне иным, чем в первый раз, возбуждённый чем-то, улыбался немножко иронически, недоверчиво, и раза два сказал мне, весело поталкивая меня в бок:

– Ну, это уж романтизм!

– Однако вы, барин, романтик!

Меня его весёлые поправки не задевали, хотя я и знал уже, что быть романтиком – весьма непохвально.

– Я рассказываю вам так, как они рассказывают о себе, – заметил я.

Он задумчиво сказал:

– Врут. Вы им не верьте. Русский человек любит мечтать, и поэтому незаметно для себя врёт, путая действительность с игрою своего ума. Один мужичок долго и убедительно приглашал меня к себе на пчельник, пришёл я, а пчельника-то у него не только нет, а и не было. Я спрашиваю: «Как же это, Фёдор Васильич, а?» А он: «Да, видишь ты, Федипорыч, больно у пчеляков у этих жизнь хороша. Думал я про них, думал, да на себя и выдумал». Вот и они, эти, тоже выдумывают на себя. Романтики, вроде вас, барин. А то ещё знал я бузулукского мещанина, который выдавал себя за фальшивомонетчика и, показывая людям настоящие казённые деньги, хвастался чистотою своей работы. Добился худой славы и даже обыска, а потом оказалось, что он и не пробовал ни-

когда сам сделать хоть бы один двугривенный. Спрашивают его: «Зачем же ты, брат, оболгал сам себя?» – «Кому, говорит, от этого вред и худо? А мне, чай, приятно думать, что вот захочу и – готово, богат».

Перестал улыбаться, задумался, глядя далеко за реку, почти синюю, в шёлковые, на солнце, луга.

– Это, знаете, у нас черта серьёзная, глубокая черта – под нею, может быть, скрыто бьётся жажда иной жизни, под нею святое недовольство самим собою человек прячет. Развяжите-ка ему руки, и он перестанет мечтать, возьмётся за дело – возьмётся, это верно. Ведь те, которые перестали мечтать, уже теперь обнаруживают огромные силы, умеют побеждать чудовищные препятствия. Вот мне тут рассказывали об этих волжанах-судоходцах – какие фигуры, какое сказочное упорство в достижении целей! Нет, русский народ – хороший народ, чудеснейший народ, я вам скажу.

Всё это говорилось торопливо, горячо и настойчиво, как бы в споре с кем-то. Потом он встал, прошёлся по дорожке, оглядываясь вокруг, и снова сел.

– Вот – сзади нас семинария, немного далее – гимназия, против неё – дворянский институт, а под горою, в полусотне шагов от всех этих великолепий – почти доисторическая жизнь в ямах, под открытым небом, и дикие люди. Над этим стоит подумать, юноша! Надобно подумать. Ужасно плохо мы знаем жизнь и – что ещё того хуже – не хотим знать её, как бы нарочно стараемся видеть меньше, чем можем, бежим

в колонии, прячемся в хаты с краю...

И с великой печалью он заговорил о сложной болезни того времени – я не помню точно его слов, но, мне кажется, он повторил их в рассказе «На границе человека».

«Время это было вот какое: отвращение ко всем иллюзиям, смех над всем, чему ещё недавно верили, холод и душевная пустота».

Говорил он тихонько, как бы стыдясь, что приходится говорить о таких печальных вещах, и всё оглядывался, словно не желая, чтобы, кроме меня, его слова слышал ещё кто-нибудь. Сидел согнувшись, крепко стиснув колени пальцами худых рук, на лицо ему падала тень от шляпы, и глаза казались синими.

– Вот, вы рассказывали об этих людях под горою. Но – почему, подумайте, почему у нас люди так легко погибают? Ведь ужасно легко: жил человек, и – ничего, а вдруг – «сбилсЯ с пути». Смотрите – это невольно сказалось: жил, и – ничего! Все ходят как будто по скользкому месту; идёт – пошатнулся – упал и не за что придержаться – ничего нет подкрепляющего душу. И ведь если падают, то разбиваются до полусмерти, непременно – до неизлечимых увечий, хотя падают не бог весть с какой высоты.

Это мне плотно легло в память – я тогда сам был в позиции человека, готового упасть.

Он вдруг вскочил на ноги, потрогал карман жилета, взглянул в небо.

– Часов шесть уже, да? Мне – пора. Заходите!

И крупными шагами, низко нахлобучив шляпу, пошёл по бульвару, но вдруг остановился, повернул назад и строго – до смешного строго – спросил:

– Вы чем, собственно, занимаетесь?

– Развожу баварский квас.

– То есть как это, куда развозите?

– По лавкам, по домам...

Он подумал и сказал, усмехаясь:

– Это, должно быть, очень скучно и глупо, а? Ну – до свиданья, купец, заходите же!

Он любил гулять в поле, за городом, один; я встречал его раза два во время этих прогулок, он спрашивал меня, что я читаю, и с великим волнением рассказывал мне о писателях. Помню, говоря о Гаршине, он сказал, по поводу «Красного цветка»:

– Русский писатель всегда хочет написать что-то вроде евангелия, книгу по всему миру; у нас этого все хотят, это общее стремление и больших и маленьких писателей, и, знаете, часто маленькие-то вечную правду чувствуют вернее, глубже гениев – вот что не забудьте, это очень важно! Русская литература – особенная, это, так сказать, священное писание, и читать её надо очень внимательно, очень!

Долго молчал и потом сказал:

– Гаршина называют святым человеком – больше этого –

он был святое дитя!

Однажды я пришёл к нему на квартиру и застал его в той же узенькой, пустой и скучной комнате; полуодетый, растрёпанный, он лежал на постели с книжкой в руках.

– Температура скачет в гору, – объяснил он, – утром взбежала до сорока почти, вот и валяюсь! А мои уехали в Саратов. Скажите-ка волшебнице, которая отворила вам дверь, чтобы она чаю нам дала.

– Вы читали Кущевского? – спрашивал он. – Нет? непременно прочитайте «Николая Негорева» – хорошая вещь! Вы о нём слышали, о Кущевском?

Сжато, памятными, вескими словами, он начал рассказывать о том, как автор «Негорева», работая осенью на Неве грузчиком-каталом, упал с тачкой в воду, простудился и, лёжа в больнице, писал по ночам свой роман.

– Я не знал его, не встречал, мне рассказывал о нём пьяненький фельдшер той больницы. «Лекарства мне не нужны, – говорил он фельдшеру, – вы лучше дайте мне водки, свечу и бумаги. Жить я не буду всё равно, но – мне необходимо написать роман, вот вы и помогите в этом – дайте мне свечку. Днём писать запрещено и мешают, значит – надо писать ночью, а без свечки – темно, понимаете?» Он у всех просил свечек, но думали, что это бред, и не давали ему огня, он выменивал огарки на свои порции, голодал и писал, а однажды взял казённую свечу из ванной комнаты, это заметили и отняли свечку у него, а он – плакал! И всё-таки – на-

писал роман. Там есть удивительное лицо, может быть, одна из самых фантастических фигур в русской литературе, – Оверин, которому земля, вся земля – кажется живым, чувствующим и думающим существом, и оно ничего не знает о нас или столько, сколько мы знаем о микробах. Оно сгибает палец, а мы переживаем землетрясения, и, в то же время, может быть, оно учится в какой-то гимназии, читает книги, и, когда перевёртывает страницы, наш мир качается. Когда я читал об этом великане-земле, не чувствующем на себе людей, – мне было страшно. Это только русский писатель может чувствовать всю землю как живое и враждебное ему существо, я уверен, что только русский. Эх, знаете, сколько в России талантливых людей и как они страшно живут! Вот – посмотрите!

Он сел на койке, прислонясь спиной к стене, и стал читать рассказ Куцевского «Самоубийца». До этой поры – а пожалуй, и с той поры до сего дня – я не слышал такого чтения: лёгкий недостаток речи Каронина удивительно помогал ему оттенять и подчёркивать наиболее волнующие места просто написанного рассказа, тихий голос насыщал слова жуткой и победительной нервной силой.

Нестерпимо стыдно и страшно было слушать историю крестьянского сына, литератора Агафонова: отец обложил его оброком в десять рублей за каждый месяц, под угрозой не давать паспорта и – сечь. Однажды этот Агафонов, «маленький, русоволосый человек», писавший свои рассказы,

волнуясь до рыданий, заболел, а из больницы попал в пере-
сыльную тюрьму.

– «Пропутешествовав несколько сот вёрст в ручных кан-
далах, он очутился перед грозными очами отца, который
не принял во внимание никаких извинений в неаккуратном
взносе оброка...

– На коленях просил я его, – рассказывал Агафонов, – не
сечь меня; потом просил высечь да опять в город отпустить.
Нет. А гляжу в окошко, батрак Осип на берёзу залез и розги
режет. Отец говорит: „Покажу тебе пьянствовать“. А у меня
сердце так и бьётся; гляжу в окно – розги режут... Пришли.
Я долго боролся, растянули в риге, на соломе, и... Я хотел
тогда удавиться после этого, да отец согласился взять с меня
пятнадцать рублей в месяц и опять отпустить в Петербург. А
что, если он меня потребует и опять поведут меня в канда-
лах? Ах, сколько клопов на этих этапах, если бы вы знали...
И опять сечь... я этого не снесу... Вы – дворянин... как хо-
рошо быть дворянином! Но вы – голытьба, вы наш... да!».

И вот снова отец требует, чтобы сын прислал шестьдесят
рублей оброка или возвращался в деревню. Агафонов мечет-
ся в ужасе, никто не может помочь ему. Наконец ему присла-
ли «паспорт» – мужичок из родной деревни принёс длинный
свёрток, а в нём пучок берёзовых розог и при этом письмо
отца:

«Вот тебе паспорт». И угроза – если подателю не будет
вручено немедленно шестидесяти пяти рублей, то отец вы-

требует сына к себе прежним законным порядком, и паспорт этот будет прописан на его спине.

Агафонов повесился. {Кущевский. «Неизданные рассказы», стр.179–185 – Ред.}

Кончив читать, Н. Е. отбросил книгу, крепко вытер пальцами усталые глаза и молча лёг.

Я спросил – правда это или выдуманно?

– Правда, – сухо сказал он. – Мне рассказывал эту историю стихотворец Кроль, участник её, один из тех, кто не мог помочь Агафонову. Все они были приблизительно в одинаковых условиях с Агафоновым, настоящая фамилия этого несчастного – не Агафонов, а не помню как. В Петербурге я читал его рассказы – это вроде Николая Успенского, но – лучше, вдумчивее и мягче. Его фамилию я помнил ещё вчера, да вот эта головная боль – от неё и свою фамилию забудешь...

– Не уйти ли мне? – предложил я.

– Ну, вот ещё! – воскликнул он, вставая на ноги. – Помилосердствуйте, я уже четвёртый день, кроме мух, ничего живого не вижу...

– Все они – Кущевский, Воронов, Левитов и множество других – были горчайшими пьяницами, об этом вспоминают часто, а причина – почему они пили так – насмерть – причина этой драмы никого не занимает. Ведь не все же они родились алкоголиками, многие, вероятно, пили потому, что лучше этого занятия – не было у них. Может быть, совре-

менный уход в колонии и другие хаты с краю по существу-то немного лучше ихнего пьянства; может, даже – если взять самую глубину явления – кабак-то ближе колонии к людям? Я не утверждаю, а – догадываюсь. Надо помнить, что один из честнейших писателей наших однажды громко заявил: «Я умираю оттого, что был я честен». Это – чугунные слова! И нигде, кроме России, эдак не сказано. В этом – всей нации, всему обществу упрёк брошен, упрёк заслуженный. Но, если умирали оттого, что были честны, ведь и пить могли оттого же? Имею ли я право отдохнуть от безобразия в кабаке, так как другого места для меня, для истерзанной души моей, – не уготовано? Общество категорически отвечает: «Не имеешь ты этого права!» Само оно однако всегда напоминает поведением своим псалом «вскую шаташася языцы» и – глухо к таким признаниям, как вот: «умираю, потому что был я честен». Это до него не доходит!

Рассказывал анекдоты о глупостях цензуры, смеялся беззлобно, потом долго молчал, усталый, и, вздохнув, сказал:

– Вообще говоря, юноша, быть писателем на святой Руси – должность трудненькая. Вот когда-нибудь родится умный человек, посмотрит, подумает и, может быть, напишет историю русского писателя-разночинца. Это очень поучительная история будет и весьма полезная для общества. Надо же понять, наконец, до какой степени у нас невозможно – возможное. Каламбур – по-русски: возможное – невозможно.

Он едва сидел на стуле, глаза его были мутны, и голова

тяжко опускалась на грудь. И когда я сказал ему, что напрасно он перемогается, лучше бы лёг, он, видимо, сильно болен, Н. Е., усмехнувшись, ответил:

– Я лет десять болен.

Однажды я видел его на людях: в город прибыл с целью пропаганды нового учения толстовец, собралась публика послушать его, пришёл и Каронин с женою.

Пропагандист был молодой парень, одетый в пестрядинную рубаху и штаны, в тяжёлых, неудобных сапожищах; он артистически чесал бока, встряхивал волосами, как настоящий мужик, двигался по комнате вразвалку, эдакой особенной походкой трудового человека и смотрел на всех людей, как человек, обладающий универсальной истиной, – снисходительным и в то же время равнодушным оком, точно говоря:

«Ну-с, все загадки жизни разрешены мною, и, если вы хотите, я, пожалуй, сообщу вам решения!»

Он был явно доволен тем, что ему удалось «опроститься», но однако в нужных случаях употреблял носовой платок. Говорил «по-нашему, попросту, по-деревенски», смачно подчёркивая настоящие слова – «брюхо», «негоже», «стал-быть», «не замайте», вообще играл роль простого мужичка с хорошей выдержкой и не без любви к делу. Начал он с того, что рассмотрел критически все условия социального бытия и доказал слушателям, что во всех несчастиях жизни они са-

ми виноваты, потому что трусы, лгуны, лицемеры и лентяи. Люди в этот день жаждали истин, суровый нагоняй пророка её был ими принят смиренно и без возражений, но, к несчастью оратора и публики, в числе слушателей оказался бывший студент духовной академии – человек рябой, лохматый и ненавидевший рационализм, что не мешало ему третий год учиться на медицинском факультете казанского университета. Он стал возражать толстовцу, и через полчаса они начали яростно швырять друг в друга цитатами из евангелия, творений отцов церкви и религиозных книг Л. Н. Толстого; студент читал их и доказывал толстовцу, что он не понял своего учителя, а опростившийся человек сердился, уже употребляя не всем понятные слова, вроде «предиката», «антиномии»; студент уличал его в неправильном толковании философских терминов – вихрем взвеваясь крикливая скука, и все слушатели поблекли.

Каронин сидел в углу комнаты, тесно набитой людьми, насыщенной табачным дымом; он согнулся, изредка негромко кашлял и, казалось, не слушал спора, разбирая пальцами волосы бороды. Казалось, что происходящее чуждо ему и себя он чувствует чужим здесь, среди обиженно нахмурившихся или угнетённо покорных людей, в кругу которых неутомимо ратоборствовали два философа. Сутулая спина писателя изогнулась дугой, волосы, свесившись, закрывали его лицо; я всё ждал, что он встанет, разогнувшись немного, чуть-чуть, выступит вперёд и убеждающим голосом скажет:

«Довольно!»

– Это квиетизм! – кричал студент толстовцу, а тот его называл «позитивистом, который стыдится позитивизма».

Каронин незаметно поднялся и вышел в соседнюю комнату, где сидело несколько человек, утомлённых спором; кто-то из них спросил:

– Что – всё ещё скучно?

– Как в семинарии на уроке гомилетики, – ответил Каронин.

Его спросили, как ему нравится проповедник? Поглаживая рукою горло, он ответил, не сразу и неохотно:

– Посылки сильные и верные, а выводы ничтожны и наивны. По-моему, это значит, что у него – одновременно – и логика плохая и чувства нет. В учителя он записался не потому, должно быть, что людей жалко и добра им хочется, а потому, что приятно для него учить людей. Холодная душа.

Минут через пять он ушёл, не простясь с хозяином квартиры, а я и ещё кто-то пошли провожать его.

Он шагал медленно, спрятав руку под бороду и тихонько говорил:

– У Слепцова умный его Рязанов говорит: «Есть такая точка зрения, с которой самое любопытное дело кажется таким простым и ясным, что на него скучно смотреть», – вот и этот фронт всю жизнь так осветил, что мне на неё стало скучно смотреть. Рязанов потом сознался всё-таки, что «это и не жизнь, а так, чёрт знает что, дребедень какая-то», –

пройдёт года два-три, и фронт тоже увидит, что он выдумал дребедень и чёрт знает что. А может, и не скажет, он – самолюбив; не скажет, а просто пулю в лоб себе. Зато, если скажет, то непременно крикливо и всему миру напоказ, уж это наверняка. (Пророчество Каронина вскорости и удивительно точно оправдалось: в год его смерти ярый толстовец Н. Ильин напечатал свой, до неприличия крикливый, «Дневник», некоторое время спустя один из главных проповедников «толстовства» М. Новосёлов начал кричать на Льва Николаевича в «Православном обозрении», и целый ряд бывших проповедников «неделания» и «непротивления злу» выступил со злейшей критикой «нового евангелия»).

– Положительно, в нём есть что-то общее со скептиком Рязановым, хотя он и щеголяет в ризе вероучителя, – говорил Каронин медленно и как бы думая о чём-то другом. – Жена моя слушает его и всё толкает меня в бок, шепчет: «Вот, напиши о нём рассказ». Написать – можно и даже следует. Нет ничего легче, как снять с человека чужое и показать, что под чужой одеждой скрывается беглый арестант из собственной своей тюрьмы. Вы слышали, как он сказал: «Вера – это любовь, распространённая на весь мир»? Слова непродуманные: они предполагают возможность какого-то безгневного, созерцательного существования. Это для русского жителя – созерцание рекомендовать?

Придержал меня за плечо и спросил:

– А на вас, колонист, эта проповедь, кажется, подейство-

вала?

Да, я был угнетён всем, что видел, а особенно моим полным непониманием философских слов. Я попросил у него разрешения зайти к нему.

Милости прошу! – сказал он.

Я видел у него книги Спенсера, Вундта, Гартмана в изложении Козлова и «О свободе воли» Шопенгауэра; придя к нему на другой день, я и начал с того, что попросил дать мне одну из этих книг, которая «попроще».

В ответ мне он сделал комически дикое лицо, растрепал себе бороду и сказал:

– Поехали Андроны на немазанных колёсах!

А потом стал отечески убеждать:

– Ну зачем вам? Это после, на досуге почитаете. А теперь, для знакомства с философией, достаточно будет, если вы прочтёте Хемницерову басню «Метафизик», – в ней всё ясно. Да и всем нам – рано философствовать, нет у нас материала для этого, ведь философия – сводка всех знаний о жизни, а – мы с вами что знаем? Одно только: вот явится сейчас городской и отведёт в участок. Отведёт и не скажет даже – за что? Кабы знать – за что, ну, тогда можно пофилософствовать на тему: правильно отвели в участок или нет? А если и этого не позволено знать – какая же тут философия возможна? Нет тут места для философии...

Он шагал по комнате длинными шагами, весёлый, шуточный, точно поздоровевший за ночь, и в глазах его светилась

мягкая радость.

– Россияне философствуют всегда весьма скверно, хотя некоторые из них и обучались в семинариях, но, видимо, способность философить – вне наших национальных предрасположений. Мечтать мы любим, как башкиры, а философим – по-самоедски, хотя самоеды, вероятно, пустяками не занимаются, но – произведём самоеда от – сам себя ест. Это будет верно: наш девиз не «познай самого себя», а пожри самого себя. Жрём. Возьмите немца: у него философия – итог знаний и действий, а у нас она понимается как план жизни, расписание на завтрашний день. Это – не годится, понимаете? Нет, вы лучше займитесь-ка делом, вон – у вас впереди солдатчина – ведь осенью на призыв?

Я сказал, что солдатчина меня не пугает, напротив – я возлагаю на неё большие надежды: имею обещание, что меня возьмут в топографскую команду и отправят на Памир, а там я...

– Здравствуйтесь! – сказал он, остановясь против меня и поклонившись. – Экая сумятица у вас в голове: колонии, Памиры, изучение философии – замечательно, право! Юноша, вам надобно лечиться от этих судорог... Или – уж лучше идите в колонию, вот, например, в симбирскую...

Пришёл какой-то рыжий мужчина, одетый мещанином, в чуйку и высокие сапоги, – Николай Ельпидифорович засиял, заметался и стал похож на ребёнка, не знающего, что ему делать от радости: вместо того, чтобы освободить один из

студьев, заваленных книгами и газетами, он начал усердно снимать книги со стола.

Гость взял за спинку стул, сбросил с него газеты на пол и сел, молча и сердито поглядывая на меня, двигая большими челюстями.

Я простился с Карониным и больше не встречал его.

Знакомство с ним – одно из самых значительных впечатлений юности моей, и я рад, что мне было так легко вспомнить его слова, точно я слышал их всего год тому назад.

Удивительно светел был этот человек, один из творцов «священного писания» о русском мужике, искренно веровавший в безграничную силу народа, – силу, способную творить чудеса.

Но у Н. Е. Каронина вера эта была не так фанатична и слепа, как у других писателей-«народников», заражённых славянофильской мистикой и, казалось бы, чуждым для них настроением «кающихся дворян». Впрочем, эта зараза естественна для людей, истерзанных своим одиночеством, людей, которым пришлось жить «между молотом и наковальней» – между полудиким правительством и чудовищно огромной, одичалой деревней.

Каронин веровал зряче:

– Надо всё-таки помнить умный стишок Алексея Толстого, хотя Толстой и барин...

Поднял палец и, несколько смущённо, прочитал «сти-

ШОК»:

Есть – мужик и – мужик,
Если он не пропьёт урожаю,
Я тогда мужика уважаю.

– Мужика надо ещё сделать разумным человеком, который способен понять важность своего назначения в жизни, почувствовать свою связь со всей массой подобных ему, стиснутых ежовой рукавицей государства.

Он многое предвидел, и некоторые мнения его оказались пророческими. После одной горячей беседы на обычную тему «что делать» он сказал угрюмо:

– Эх, замотаются люди на этих поисках места и жизни и нырнут в омут такого эгоизма, что всем чертям будет тошно!

Жил он только литературным заработком, нередко голодал, ему часто приходилось бегать по городу, отыскивая у знакомых рубль взаём.

В один из таких дней я увидел его на балчуге, он продавал старьёвщику кожаный пояс и жилет. Сгорбясь, кашляя, стоял пред каким-то жуликом в очках, сняв пиджак, в одной рубашке, и убедительно говорил:

– Но послушайте, почтенный, – что же я буду делать с семнадцатью копейками?

– А уж этого я не знаю...

– На семнадцать копеек не проживёшь день...

– Живут и дешевле, – равнодушно сказал жулик.

Каронин, подумав, согласился:

– Верно, – живут! Давайте деньги.

Когда я поздоровался с ним, он сказал, надевая пиджак:

– А я вот продал часть своей шкуры. Так-то, барин! Чтобы работать – надо есть...

Он часто говорил о людях, которым тяжело на земле, но я не слышал жалоб его на свою полуголодную жизнь, да казалось мне, что он и не замечает, как живёт, весь поглощённый исканием «правды-справедливости». И, как все люди его линии мысли, верил, что эта правда существует там, в деревне, среди «простых» людей.

Мне кажется, он редко употреблял глагол жить, – чаще говорил работать. И редко звучало тогда слово человек, говорили – народ.

– «Мы должны целиком израсходовать себя в пользу народа, этим решаются все вопросы», – прочитал он мне слова из какого-то письма и, барабанив пальцами по листу бумаги, задумчиво добавил:

– Конечно. Ну конечно! А иначе – куда? На что мы?

Встал со стула, оглянулся.

– Пишет это одна хорошая женщина. Из ссылки.

Полузакрыв глаза, глядя на голую стену комнаты, он тихонько рассказал мне историю девушки: она фиктивно вышла замуж за человека совершенно чужого ей, пьяницу, освободилась от семьи и попала в руки негодяя. Долго боролась с ним за свою свободу, измученная ушла в деревню

«учить народ», а теперь зябнет в Сибири. Рассказав это, он грустно добавил:

– Жертва. Тяжело ей. Я знаю, – тяжело! Но – другой дороги не было, барин!

В те дни, когда мне особенно плохо жилось, он посоветовал:

– Вы – странная натура. Всё у вас угловато и как-то отвлечённо. Пожалуй, вам и полезно будет пожить в колонии, с толстовцами, они вас несколько обломают...

Его интерес к «боснякам» возрастал, раза три я видел Каронина в трущобах «Миллионной» улицы, и мне казалось, что его несколько смущает увлечение, чуждое вере в деревню.

– Резкий народ, – говорил он. – Очень интересные типы есть. Конечно – отработанный пар, но всё-таки некоторые – думают... А это уже – кое-что...

Жил он в постоянной тревоге о судьбе народа, в непрерывных заботах о хлебе, и эта напряжённая, нервная жизнь очень помогала болезни разрушать тело, измученное тюрьмой, этапами, ссылкой. Всё лихорадочнее горели его глаза, суше звучал кашель.

Он уехал из Нижнего и вскоре умер.

Кто-то рассказал мне, что в день смерти Каронин грустно сознался:

– Оказывается, умирать гораздо проще, чем жить.